



А. А. ИЗМАЙЛОВ

Вифлеем или Голгофа?

(В. В. Розанов и «неудавшееся христианство»)

I

«Последний и совершеннейший выразитель антихристианской культуры — Ницше на Западе, а у нас, в России, почти с теми же откровениями — В. В. Розанов, русский Ницше. Я знаю, что такое сопоставление многих удивит; но когда этот мыслитель, при всех своих слабостях в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше, самородный, первозданный в своей антихристианской сущности, будет понят, то он окажется явлением едва ли не более грозным, требующим большего внимания со стороны церкви, чем Л. Толстой, несмотря на всю теперешнюю разницу в общественном влиянии обоих писателей»¹.

Так написал о Розанове Мережковский, и написал не в газетной статье, которой веку один день, а в капитальном и продуманнейшем двухтомном исследовании своем о Толстом и Достоевском. «Розанов — один из первых русских писателей... это нужно помнить... это должны помнить и враги его», — так написал убежденный политический враг его П. Струве².

Но Владимир Соловьев когда-то беспощадно вышутил Розанова в целой статье и приклеил к нему долго державшуюся за ним кличку Порфирия Головлева. Но с высоты либерального величия критик М. Протопопов, бывший еще в силе, обозвал его «писателем-головотяпом»³. Но по сей час у него еще множество хулителей и врагов.

Оспариваемый и пререкаемый, умеющий вызывать какую-то особенную, глубокую до нежности и ласковости, читательскую любовь одних, раздражающий других одним своим именем, вызывающий чужих людей на интимнейшую переписку и странно

не задевающий душ других, — Розанов совершает свою литературную карьеру, подходящую вот уже к рубежу четверти века.

Откуда-то с проселочных дорог, из темных закоулков, из «Русского вестника», «Русского обозрения», плохо читаемых, еще менее уважаемых, из газет, где появление его имени было очевидной и не очень логической случайностью, — через несколько десятков лет он вышел на большую улицу литературы и стал на том месте, которое теперь видно со всех улиц и переулков. Ни предубеждения против журналов и газет, которым он давал свое имя, ни враждебный гул прогрессивной критики около его статей, ни самый характер его писаний, всегда серьезный и метафизический, ни самый стиль его, еще так недавно неясный, тяжеловатый, избыточный словами в скобках и кавычках, примечаниями под строкой, отступлениями, — ничто не воспрепятствовало восходу его звезды.

II

Своеобразный и большой талант победил уже многих, кто первое время не мог примириться с оригинальностью его выступлений, с его писательским обликом, так мало похожим на обыкновенные современные писательские лица, — не мог принять его языка, его тем, его странного спокойствия, с каким он садился за один стол с филистимлянами.

Похоже было на то, что в общество, связанное обычными, не нарушаемыми приличиями, этот человек пришел без условных крахмальных воротничков, в которых неловко шее, без застегнутого сюртука, без модного плаща.

Это было так непривычно, что на некоторое время совершенно обособившийся от своих собратий Розанов встал в положение какого-то почти «Христа ради юродивого». Над ним улыбались, когда на страницы книги он выносил что-то совершенно «свое», страшно интимное, совершенно личное.

Сколько великолепного зубоскальства ушло, например, на юморизирование по поводу «часовенки», о которой он заговорил в предисловии к одной из своих книг!⁴

Газетное литературное обозревание большей частью имеет дело не с орехом, а со скорлупой, не ловит сущности, но цепляется за шероховатость, за орнамент, за ошибку, за lapsus, и уж как безгранично, по-мальчишески бывает радо смешному!

Розанов точно задался целью смущать этих веселых литературных мальчишек. Перед их огромной аудиторией он говорил

так, как можно говорить в интимном семейном кружке, где люди давно сговорились и понимают друг друга с полуслова. Доказывая мысль о необходимости какого-то возвращения к жизни природы, к общению с животным, он раз написал:

«Часто я думаю, что для этого надо просто обниматься с животными; начать носить их на руках (дети вечно носят кошек на руках). Великое дело — прилечь ухом к груди доброй коровы; новая теплота, новая жизненная теплота, как бы не нашей даже планеты, без категории еще грехопадения. Великому мы можем научиться из вздохов животных... И смешно, а как мило! Проникание в невинный или гораздо менее нас виновный животный мир достигло бы осязательности и действительности, если бы иногда человеческие матери, так сказать, менялись детенышами с матерями животных» и т. д.

Можно представить, какой благодарный материал всякого рода пересмешникам давали эти строки! Какой соблазн для карикатуристов чернил и красок представлялся в изображении Розанова, «прилегшего ухом к груди доброй коровы»! В России, где читатель не читает, а пользуется готовыми кличками фельетонистов, иногда приклеивающимися к общественному человеку на целый век, одной такой неосторожности достаточно для того, чтобы пошатнуть навсегда свое положение. Розанов давал эти поводы на каждом шагу.

Он иногда может договориться до чистого парадокса, до ереси, научной или политической. Его можно иногда жестоко осудить с точки зрения гражданственности, если забыть, что не всех людей можно судить под углом «направления».

III

Писатель, который думает «свое», не очень заботясь о том, насколько это совпадает с общими думами, ставит себя очень невыгодно. Нужно «заставить» слушать себя. Но нет такой твердыни, которой бы не победили искренность и талант. И Розанов победил.

Новое литературное направление широко распахнуло перед ним свои двери. С уходом из рядов действующей армии критических старцев и все старое и стареющее повернуло к Розанову заинтересованное лицо.

В самые последние годы Розанов рос необыкновенно, с каждым новым шагом писательского самоопределения становясь все интереснее, смелее и ярче. Поразительной искренностью берет он читателя в свою власть.

Собственно говоря, сам Розанов изменился немного. Это правда, что с годами талант его зрел и зрел. Его фраза, в прежние годы длинная и вязкая, торопливая и запутанная, с годами много выиграла в своей ясности и красоте. Сейчас в его книгах, например, в «Итальянских впечатлениях», можно найти страницы такой настоящей художественности, что их можно взять в хрестоматии.

Но гораздо больше изменилось отношение к нему. Он так же неосторожен в своих признаниях. Так же легко он готов ввести читателя в свою личную, почти семейную жизнь, взять для примера, для доказательства какую-либо мелочь своей частной жизни. Так же наивен, так же готов процитировать полученное частное письмо, которое своей медицинской откровенностью способно привести читателя в крайнее удивление, а главное управление по делам печати в испуг. Так же мало он боится того, что о нем скажут и как посмотрят на него газетные фельетонисты, которым всегда и от всего весело.

Глубокий и серьезный читатель оценил эту черту писательской открытости. Эта интимность, это отсутствие боязни до конца высказаться взяли его в плен. За искренность платят искренностью.

IV

Сила притягательности Розанова, помимо этой искренности, в самой сущности его писательских влечений. Еще совсем неизвестный, никем не знаемый, по положению скромный учитель сначала в елецкой, потом в бельской прогимназии, в самых ранних своих статьях он брался за те важные и глубокие темы, которые будут вечно волновать человечество. Для толстого журнала 90-х годов почти странно звучали самые названия его работ: «Место христианства в истории», «Цель человеческой жизни», «Легенда о Великом Инквизиторе». Конечно, ни «Вестник Европы», ни «Русская мысль» не дали бы места этим статьям. Религиозный душок смущал прогрессивную редакцию «Вестника Европы» даже в статьях Влад. Соловьева. С религиозностью Толстого считались больше из любезности, оказываемой его колоссальному таланту. Было в высшей степени неосторожно выступить в дни, когда царил Михайловский, с вопросами, какие облюбовал Розанов.

Но веяние, выразителем которого был Толстой, уже властно несло на Россию. Когда Владимир Соловьев умирал, на него уже были устремлены благосклонные глаза интеллигенции, в сущности, вовсе не бывшей при жизни под его влиянием. Вопро-

сы религиозной совести стали вдруг близки ей. Тогда вдруг, буйно, вольно и в качественном и в количественном отношениях расцвел талант Розанова.

Была какая-то волнующая парадоксальность в его статьях. Ко всему, что интересовало его, он умел подойти как-то необыкновенно оригинально с той стороны, какая была в тени, не резала ничей глаз. И так было всегда, пытался ли он осветить судьбу Лермонтова, или хотел наметить историческую литературную грань от Пушкина или Гоголя, сопоставлял ли католичество с православием или писал о самых обыкновенных житейских предметах.

Интересный, парадоксальный, своеобразный по всему, вплоть до своего стиля, лирического, точно торопливого, часто почти судорожного, переливающегося то в экстазную речь при внезапной мысли, обжегшей сердце, то в тихо интимный, ласковый шепот — фельетонист Розанов создал имя Розанову-философу.

Сначала узнали его фельетоны, потом уже по справкам оказалось, что у этого писателя есть книга о «Великом Инквизиторе», что, кроме злобы сегодняшнего дня, для него горят интересом такие огромные вопросы, как вопрос о христианстве.

Розановым заинтересовались. Тогда узнали о его бывшем учительстве, о том, что он приглашен Т. И. Филипповым на службу в государственный контроль, что он уже совсем не молод. Ряд вышедших к этому времени книг установил репутацию Розанова. Его огромный философский трактат «О понимании» установил за ним ученый ценз. Для обыкновенного читателя — подвиг прочесть эту систему, где на протяжении 800 страниц нет ни одной цитаты. — «А какова действительная научная ценность этого труда?» — спросил я однажды у большого специалиста философии, академика и друга Соловьева. — «Этот труд, — ответил он, — замечателен тем, что Розанов, не читавший Гегеля, собственным умом дошел до того, до чего дошел Гегель. Я думаю, что этого не нужно было делать, — проще было научиться читать по-немецки»...

Это была горькая истина, но это был и очень высокий комплимент Розанову как мыслителю.

V

Вопрос об «историческом христианстве» был темой, которая давно не давала спать Розанову. Что есть христианство и чем оно стало — этот вопрос мучил его еще тогда, когда он писал «Легенду о Великом Инквизиторе». Из этого вопроса вытекает

вся его философия. С величайшими усилиями он уцепился за колоссальное колесо, привел его в движение тяжестью своей мысли, и зубцы колеса попутно зацепили чуть не за всю систему человеческой мысли.

С преклонением Розанов остановился перед учением Христа, но историческое проведение христианства в жизнь, история христианства, облитая кровью первых мучеников, жертв инквизиции, жертв современной государственности, все современное христианство вообще с проституцией и смертной казнью и т. д. без конца — все это повергло его в ужас.

«Христианство не удалось», — с великой горечью, но и с великим и несомненным убеждением произнес он. Христа не поняли, христианство подменили. Под христианство нырнуло что-то другое, сохранившее от истинного учения Христа только оболочки слов, формулы, красивые эмблемы и священные термины. Византизм, аскеты-монахи переделали его на свой вкус. Они приняли христианство умом, они исписали тысячи толстых книг для его уяснения, но они не приняли евангелия сердцем и «не понесли его на струны» арфы, «не выразили в псалтири». Они хотели его *понять* и отказались *почувствовать*.

Протестующее мировоззрение Розанова создано не сразу и не целиком. Человек, избравший трагический удел газетного писателя, Розанов был лишен преимуществ мыслителя, неспешно и без помех вынашивающего свою систему для того, чтобы потом ударить ею по сердцам человечества. Только в самые первые годы своего труда, в годы безвестности и жизни в провинции Розанов мог почувствовать выгоды такого положения. Теперь на глазах всех он должен был вырубать и обтачивать каждый камень огромного здания своей философии.

Он как бы думал вслух, ошибаясь и поправляясь, выслушивая спорщиков, полемизируя с ними, иногда соглашаясь с ними и ломая только что уложенный перед этим камень. Совершенно так же, как Ницше, он дает многочисленные поводы понять себя неверно. В сего ранних книгах есть целые отделы, которые теперь прямо должны быть вычеркнуты, — до такой степени не соответствуют они его нынешнему пониманию, иногда полярно противоположны его нынешнему пониманию.

VI

Эта оговорка как нельзя более уместна и тогда, когда идет речь о понимании им современного христианства и тех поправок, какие он хотел бы в нем сделать.

Еще не так давно Розанов был убежденным сторонником христианства, понятого как «свет и радость». Христианство Вифлеема, религию рождений, светлого счастья семьи, брака, супружеской любви, улыбающихся детей Розанов проповедывал со всей порывистостью и страстью своего темперамента. В книге «Около церковных стен» он одобрял книгу Григория Петрова, несшую то же учение в противоположность христианству Голгофы, унылых монастырей, черных ряс, самоотреченного безбрачия и смертных саванов.

Эта религия Голгофы, эта смертная тень христианства казалась ему тогда лживым измышлением Византии и аскетов. Под таким углом написаны его книги «О семейном вопросе в России», о браке, сила и смысл которого для Розанова в супружеской любви и детях, а не в церковном обряде и отметках паспорта. Неудержимые громы метал он в представителей синодской церкви и в институт монашества.

Недавняя книга его «Темный Лик» освещена уже значительно иначе. Его вражда к монашеству, к аскетизму, внушающему миру идеалы безбрачия, подвиги девства, «мерзость пола», стыд плотского сожития, — правда, и здесь ничуть не менее. Он доходит почти до неприличия в своих бранных выпадах против этих «скопцов» и «изуверов», но, оставаясь наедине с собою, Розанов, кажется, должен чувствовать несправедливость своего обвинения в отношении именно *этих* лиц.

Углубляясь в свою излюбленную тему, докапываясь до самых корней, он, кажется, уже почувствовал, что обвинение его метит гораздо глубже, что он враждует не с этими людьми, а с самим Христом. Они виноваты не в том, что *неверно Его поняли*, а в том, что именно *прямолинейно провели Его учение* в жизнь.

«Востоку одному дано было уловить лицо Христа. И Восток увидел, что лицо это бесконечной красоты и бесконечной грусти. Взглянув на него, Восток уже навсегда потерял способность по-настоящему, по-земному радоваться, попросту быть веселым, даже только спокойным и ровным. Он разбил вдребезги прежние игрушки, земные недалекие удовольствия и пошел, плача, но и восторгаясь, по линии этого темного, не видного никому луча...»

VII

Существует картина одного мастера из новых, изображающая Христа, держащего крест. За ним мир, поля, люди, жилища. Великая черная тень легла от этого креста на все сзади него. Вот

картина, которую Розанов мог бы повесить у себя вместо образа. Здесь все его мировоззрение: Пушкины и Горации, Рафаэль и Петрарка, вся романтика, все земное счастье — все умерло под смертной тенью христианства. Смерть — его идеал. «Плюнь и отрекись от своего рождения, от твоих родителей», — говорит церковь вновь крещаемому...

VIII

Сопоставляя мир и монастырь, девство и брак, отшельничество и семью с детьми, Розанов не мог не остановиться перед огромным вопросом бытия — вопросом пола.

С этой минуты этот вопрос загорелся для него костром и пылает десяток лет, горя и не сгорая, как библейская купина перед Моисеем. Это даже не увлечение, не захват, — Розанов точно заболел, забеременел этой думою.

В целом мире для него нет ничего более интересного, огромного, захватывающего. Он для него выше политики, общественности, литературы, красоты, всех прикладных знаний, всего практического уклада. Всю тонкость своего ума, все свое мистическое прозрение, которое порой поражает в Розанове даже его литературных противников, всю образность своей речи, весь пафос своего сердца Розанов сложил сюда.

Своей думы он не оставляет нигде, ни перед сфинксами Египта, ни в галереях итальянских и германских сокровищниц, ни перед изображениями древних монет (маленькая его слабость). Всюду он ищет аналогий, символов, сравнений, прояснений, прообразов, пророчеств.

Как человек, подсмотревший Божию тайну, он носит ее с нею, иногда рискуя показаться психически неуравновешенным, возвращается к ней в десятках и сотнях статей, собирает эти статьи в книги. В двух томах «Семейного вопроса в России», в большой книге «В мире неясного и нерешенного», в «Людах лунного света» — его глаза прикованы все к той же точке. То, что веками замалчивалось в печати, освещаясь только в интимнейших тайных разговорах с глазу на глаз, то, что считалось стыдным, что церковь всех веков осуждала как грешное, нецеломудренное, — Розанов первый с такой смелостью, как никто, вынес на всенародные очи.

Жизнь пола он считает самым важным и самым священным в человеке. Это та область, где человек более всего касается Божией тайны и Бога. Пол определяет все и управляет всем. «Душа

вовсе и нисколько не имеет своим седалищем мозг, но то темное и разлитое в существе нашем, что мы называет “полом”. Душа есть зеркало пола».

«Рождение и все около рождения религиозно». Всякое дитя, законное или незаконное, брачное или внебрачное, есть великое счастье и святыня. Всякий мужчина, сошедшийся с женщиной, записан в брачную книгу на небе.

IX

Розанов хотел бы установить почти молитвенное отношение к супружескому акту. Как высшую мудрость он одобряет существование у евреев молитвы пред сближением супругов. С лицом, выражающим глубокую серьезность и иногда умиление, он входит в малейшие подробности восточных культов, устанавливающих внешнюю обрядовую сторону супружеского акта в древних религиях, делает экскурсии в медицину, психиатрию, в исследования извращений, ища всюду, и в положительных и в отрицательных материалах, прямых или косвенных подтверждений своего учения о «святости плоти», стряхивает пыль с египетских мифов, обращается к зоологии, воспринимает решительно все — в жизни, в книге — как материал для исследования о поле.

Трудно представить более пламенного певца семьи как «святой земли», как союза целомудрия и чистоты, как храма, где отец — жрец и царь, чем Розанов.

Нет злее врага, не щадящего самых жалких и обидных слов против тех, кто стоят за принципы девства и готов отрицать права пола. Он проклинает аскетизм и монашество, веками убеждавшие человечество, что жизнь пола есть грех, а целомудрие — высшая добродетель и святость.

«Оцеломудрить человечество! Две тысячи лет это понимает как “отвергнуть” пол, “уничтожить” его; и никто не догадывается, что это именно и есть decadence пола, его загрязнение, его развращение...»

Чисто языческий восторг овладевает Розановым, когда он становится поэтом пола, радостей семьи, безумного счастья материнства и отчества. Так мог радоваться бытию древний эллин. Каждое слово одобрения со стороны радует Розанова, и он перепечатывает эти письма к нему, не смущаясь откровенностью их выражений, не боясь иногда того, что в глазах человека, не разделяющего его возвышенного понимания, такие письма иногда

могут показаться чистой порнографией. В свое время нашумевшее 21 письмо в его книге «В мире неясного и нерешенного» было вырезано как оскорбляющее общественную нравственность.

Система Розанова еще и сейчас не может быть признана законченной и цельной. Она развивается вместе с его жизнью, принимает поправки, находит все более смелые определения и формулы. Она так сложна, что критическое освещение ее потребовало бы самостоятельной статьи. Чем она завершится — неизвестно, и здесь можно ждать всяческих неожиданностей.

Можно не удивиться, если его мысль пойдет в своем еретичестве дальше отрицания Толстого. Но не будет удивительно, если она найдет покойную и тихую пристань в кроткой вере Достоевского или Леонтьева.

